

*Это предисловие Юрия Ивановича Селезнёва к отдельному изданию романа “Подросток” никогда не перепечатывалось с 1987 года. Мы публикуем эту замечательную статью нашего выдающегося критика к 200-летию со дня рождения классика мировой литературы.*

ЮРИЙ СЕЛЕЗНЁВ

## МЫСЛЬ СЕМЕЙНАЯ — МЫСЛЬ НАРОДНАЯ

*Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен...*

Ф. М. Достоевский

Великие произведения искусства, — а роман “Подросток”, безусловно, одна из вершин отечественной и мировой литературы, — имеют то неоспоримое свойство, что они, как утверждал автор “Подростка”, Фёдор Михайлович Достоевский, *всегда современны и насущны*. Правда, в условиях обычной повседневной жизни мы порою даже и не замечаем постоянного мощного воздействия литературы и искусства на наши умы и сердца. Но в те или иные времена эта истина вдруг становится для нас очевидной, не требующей уже никаких доказательств. Вспомним хотя бы, например, о том поистине всенародном, государственном и даже в полном смысле слова всемирно-историческом звучании, которое обрели в годы Великой Отечественной стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока... Лермонтовское “Бородино” с его бессмертно-патриотическим: “Ребята! Не Москва ль за нами?!” — или гоголевский “Тарас Бульба” с его устремлённым в будущее словом-пророчеством о бессмертии русского духа, о силе русского товарищества, которые не одолеть никакой вражьей силе, действительно обрели мощь и значимость духовно-нравственного оружия нашего народа. Совершенно заново были осмыслены в ту эпоху многие произведения русской классической литературы и за рубежом. Так, например, в странах антигитлеровской коалиции в годы войны издание эпопеи Льва Толстого “Война и мир” выходило снабжённым картами наполеоновского и гитлеровского нашествий, что “подсказывало аналогию между неудачей наполеоновского похода на Москву и предстоящим разгромом немецкой фашистской армии... Главное, что в романе Толстого... нашёлся ключ к пониманию духовных качеств советских людей, защищающих свою родину”.

Конечно, всё это примеры остросовременного, гражданского, патриотического звучания классики в условиях экстремальных. Но ведь это всё-таки факты. Реальные исторические факты.

И, однако, “Подросток”, о котором пойдёт речь, по своему общественно-му гражданскому заряду, очевидно, далеко не “Бородино”, не “Тарас Бульба”

и не “Война и мир” или “Что делать?” Чернышевского или, скажем, “Тихий Дон” Шолохова. Не так ли?

Перед нами обыкновенная, чуть не сказал — семейная, хотя скорее уж — бессемейная, с элементами детектива, но всё же достаточно обыденная история, и, кажется, не более того.

В самом деле: лет двадцать назад двадцатипятилетний тогда Андрей Петрович Версилов, человек образованный, гордый, преисполненный великих идей и надежд, увлёкся вдруг восемнадцатилетней Софьей Андреевной, женой своего дворового человека, пятидесятилетнего Макара Ивановича Долгорукого. Детей Версилова и Софьи Андреевны, Аркадия и Лизу, признал Долгорукий своими, дал им свою фамилию, а сам с сумой и посохом ушёл странничать по Руси в поисках правды и смысла жизни. С тою же, по существу, целью отправляется скитаться по Европе Версилов. Пережив за двадцать лет скитаний немало политических и любовных страстей и увлечений, а заодно и промотав три наследства, Версилов возвращается в Петербург едва ли не нищим, но с видами обрести четвёртое, выиграв процесс у князей Сокольских.

Приезжает из Москвы в Петербург и юный девятнадцатилетний Аркадий Макарович, у которого за недолгую его жизнь накопилось уже немало обид, мучительных вопросов, надежд. Приезжает *открывать* отца: ведь он, по существу, впервые встретится с Андреем Петровичем Версильовым. Но не только надежда обрести наконец семью, отца влечёт его в Петербург. В подкладке сюртука подростка зашито и кое-что материальное — некий документ, вернее, письмо неведомой ему молодой вдовы, генеральши Ахмаковой, дочери старого князя Сокольского. Подросток знает наверняка — и Версилов, и Ахмакова, и, может быть, ещё кое-кто отдали бы многое, дабы заполучить это письмо. Так что Аркадий, собираясь наконец броситься в настоящую, как ему представляется, жизнь, в жизнь петербургского столичного общества, имеет виды проникнуть в него не бочком, мимо зазевавшегося швейцара, но прямо-таки властелином чужих судеб, находящихся в его руках, а точнее — пока за подкладкой сюртука.

И вот чуть не на протяжении всего романа нас интригует вопрос: а что же там всё-таки в этом письме? Но ведь эта (далеко не единственная в “Подростке”) интрига — скорее уж более детективного свойства, нежели нравственного, идейного. А это, согласитесь, совсем не тот интерес, который преследует нас, скажем, в том же “Тарасе Бульбе”: выдержит ли Остап нечеловеческие пытки? Уйдёт ли старый Тарас от вражьей погони? Или в “Тихом Доне” — к кому в конце концов прибьётся Григорий Мелехов, на каком берегу обретёт правду? Да и в самом романе “Подросток” окажется в итоге, что ничего такого уж особенного, пожалуй, в письме и не обнаружится. И мы чувствуем, что главный интерес вовсе не в содержании письма, но совсем в другом: позволит ли подростку его повесть использовать письмо ради собственного самоутверждения? Разрешит ли он себе стать хотя бы на время властелином судеб нескольких людей? А он ведь уже заразился мыслью о собственной исключительности, в нём уже успели пробудить гордыню, желание попробовать самому на вкус, на ощупь все блага и соблазны этого мира. Правда, он ещё и чист сердцем, даже наивен и непосредствен. Он не совершил ещё ничего такого, чего бы устыдилась его повесть. У него ещё *душа подростка*: она открыта ещё добру и подвигу. Но найдись такой авторитет, случись одно только потрясающее душу впечатление — и он равно и притом *по совести* готов будет пойти той или иной дорогой жизни. Или — хуже того — научится примирять добро и зло, правду и ложь, красоту и безобразие, подвиг и предательство, да ещё и оправдывать себя по совести: не я-де один, все такие же, и ничего — здравствуют, а иные так и процветают.

Впечатления, соблазны, неожиданности новой, *взрослой*, петербургской жизни буквально захлёстывают юного Аркадия Макаровича, так что он вряд ли даже готов вполне воспринимать её уроки, улавливать за потоком обрушивающихся на него фактов, каждый из которых для него едва ли не открытие, их внутренние связи. Мир то начинает обретать в сознании и чувствах подростка приятные и столь много обещающие ему формы, то вдруг, будто рухнув разом, вновь погружает Аркадия Макаровича в хаос, в беспорядок мыслей, восприятий, оценок.

Каков же этот мир в романе Достоевского?

Социально-исторический диагноз, который поставил Достоевский современному ему буржуазно-феодальному обществу, и притом, как всегда, поставил *пропорционально будущему*, пытаюсь, а во многом и сумев разгадать будущие итоги его нынешнего состояния, этот диагноз был нелицеприятен и даже жесток, но и исторически справедлив. “Я убаюкивать не мастер”, — отвечал Достоевский на обвинения в том, что он слишком-де сгущает краски. Каковы же, по Достоевскому, основные симптомы болезни общества? “Во всём идея разложения, ибо все врозь... Даже дети врозь... Общество химически разлагается”, — записывает он в тетрадь мысли к роману “Подросток”. Рост убийств и самоубийств. Распадение семей. Господствуют случайные семейства. Не семьи, но какие-то брачные сожительства. “Отцы пьют, матери пьют... Какое поколение может родиться от пьяниц?”

Да, социальный диагноз общества в романе “Подросток” даётся преимущественно через определение состояния русской семьи, а это состояние, по Достоевскому, таково: “...никогда семейство русское не было более расшатано, разложено... как теперь. Где вы найдёте теперь такие “Детства и Отрочества”, которые могли бы быть воссозданы в таком стройном и отчётливом изложении, в каком представил, например, нам *свою* эпоху и своё семейство граф Лев Толстой, или как в “Воине и мире” его же? Ныне этого нет... Современное русское семейство становится всё более и более случайным семейством”.

Случайное семейство — продукт и показатель внутреннего разложения самого общества. И притом показатель, свидетельствующий не только о настоящем, но и в ещё большей мере рисующий это состояние пропорционально будущему: ведь “главная педагогия, — справедливо считал Достоевский, — это родительский дом”, где ребёнок получает первые впечатления и уроки, формирующие его нравственные основания, духовные крепки, нередко на всю уже потом жизнь.

Какой же “стойкости и зрелости убеждений” можно требовать от подростков, — спрашивает Достоевский, — когда подавляющее большинство их воспитывается в семьях, где “господствуют... нетерпение, грубость, невежество (несмотря на их интеллигентность) и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в смешливом презрении к народу... — тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни?..”

Размышляя о роли отцов в воспитании подрастающего поколения, Достоевский заметил, что большинство отцов стараются исполнять свои обязанности “как следует”, то есть одевают, кормят, отдают детей в школу, дети их, наконец, вступают даже в университет, но при всём при том — отца тут всё-таки “не было, семейства не было, юноша вступает в жизнь один как перст, сердцем он не жил, сердце его ничем не связано с его прошедшим, с семейством, с детством”. И это ещё в лучшем случае. Как правило же, воспоминания подростков отравлены: они “вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них... и, что хуже всего, вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из-за достижения мест, денег, гадкие интриги и гнусное раболепство”. Большинство “уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь воспоминаний, а и самую грязь...” И, что самое главное, — “общего нет ничего у современных отцов”, “связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет... великой веры нет в их сердцах в такую мысль”. “В обществе нет никакой великой идеи”, — а потому “нет и граждан”. “Нет жизни, в которой участвовало бы большинство народа”, а потому нет и общего дела. Все разбились на кучки, и каждый занят своим делом. В обществе нет никакой *руководящей*, соединяющей идеи. Но зато чуть ли не у каждого — своя собственная идея. Даже у Аркадия Макаровича. Обольстительная, не мелочная какая-нибудь — идея сделаться Ротшильдом. Нет, не просто богатым или даже очень богатым, но именно Ротшильдом — некоронованным князем мира сего. Правда, для начала у Аркадия всего только и есть, что припрятанное письмо, но ведь, поиграв им, при случае можно уже кое-чего достигнуть. И Ротшильд не сразу Ротшильдом сделался. Так что важно решиться на первый шаг, а там дело само пойдёт.

“Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация”, — утверждает Достоевский в “Дневнике писателя” за 1876 год, как бы подытоживая и продолжая проблематику “Подростка”. В обществе, неспособном выработать такую идею, и рождаются десятки и сотни идей для себя, идей личного самоутверждения. Ротшильдовская (буржуазная по сути) идея власти денег тем и притягательна для не имеющего незыблемых нравственных оснований сознания подростка, что она для своего достижения не требует ни гения, ни духовного подвига. Она требует для начала лишь одного — отказа от чёткого различения грани добра и зла.

В мире разрушенных и разрушаемых ценностей, относительных идей, скептицизма и шатания в главных убеждениях герои Достоевского всё-таки ищут, мучась и ошибаясь. “Главная идея, — записывает Достоевский ещё в подготовительных тетрадях к роману. — Подросток хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе...”

Без высшей идеи жить невозможно, а высшей идеи у общества-то и не оказалось. Как говорит один из героев “Подростка”, Крафт, “нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было... Нынешнее время... это время золотой середины и бесчувствия... неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею... Нынче безлесья Россию, истощают почву. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются: “Разве ты до него доживёшь?” С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут, только бы с них достало...”

Вот это-то духовное (точнее бы сказать — бездуховное) состояние “постоялого двора” и навязывают юному, ищущему твёрдые основания жизни подростку готовые идеи вроде его “ротшильдовской” идеи, и притом — как свои, рождённые как бы его собственным опытом жизни.

В самом деле, реальная действительность этого мира нравственного релятивизма, относительности всех ценностей рождает в подростковом скепсис. “Да зачем я непременно должен любить моего ближнего, — не столько пока утверждает, сколько пока провоцирует на опровержение своих утверждений юный Аркадий Долгорукий, — любить моего ближнего или ваше там человечество, которое обо мне знать не будет и которое, в свою очередь, истлеет без следа и воспоминания?..” Вековечный вопрос, известный ещё с библейских времён: “Нет памяти о прошлом; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после... ибо кто приведёт его посмотреть на то, что будет после него?”

А если так, то и справедлив вопрос юного правдоискателя Аркадия Долгорукого: “Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более что всё продолжается одну минуту? Нет-с, если так, то я самым пренебрежительным образом буду жить для себя, а там хоть бы всё провалилось!” Но человек, если он человек, а не “вошь”, — повторим ещё раз заветную мысль писателя, — не может существовать без руководящей идеи, без твёрдых оснований жизни. Теряя веру в одни, он всё равно старается обрести новые и, не находя их, отталкивается на первой же поразившей его сознание идее, лишь бы она представилась ему действительно надёжной. В мире разрушенных духовных ценностей сознание подростка и отыскивает для себя надёжнейшее, как ему кажется, основание, орудие самоутверждения — деньги, ибо “это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество... Я, — философствует подросток, — может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо моё ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, кто будет справляться с лицом моим, и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне со своими красотоми?.. Я, может быть, и умён. Но будь я семи пядей во лбу, непременно найдётся тут же в обществе человек в восемь пядей во лбу — и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, — разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить?.. Я, может быть, остроумен; но вот подле меня Талейран, Пирон — я и затемнён, а чуть я Ротшильд — где Пирон, да может быть, где и Талейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество...”

Автор “Подростка” имел представление о подлинной силе власти буржуазного кумира, золотого тельца, реальным, живым представителем которого,

своего рода “пророком и наместником” на земле и был для Достоевского Ротшильд. Не для одного Достоевского, конечно. Имя Ротшильда стало символом духа и смысла “мира сего”, то есть мира буржуа задолго до Достоевского. Ротшильды нажились на крови народов тех земель, куда они пришли, чтобы овладеть ими властью денег. В эпоху Достоевского наибольшей известностью пользовался Джеймс Ротшильд (1792–1862), настолько нажившийся на денежных спекуляциях и государственном ростовщичестве, что имя Ротшильдов стало нарицательным.

О могуществе истинного “царя” буржуазного мира писал Генрих Гейне в книге “К истории религии и философии в Германии”, впервые опубликованной на русском языке в журнале Достоевского “Эпоха”. “Если ты, дорогой читатель, – писал Гейне, – ...отправишься на улицу Лафит, в дом 15, то увидишь, как перед высоким подъездом из тяжеловесной кареты выходит толстый человек. Он поднимается по лестнице наверх в маленькую комнату, где сидит молодой блондин, в барской, аристократической пренебрежительности которого заключено нечто столь устойчивое, столь положительное, столь абсолютное, как будто все деньги этого мира лежат в его кармане. И в самом деле, все деньги этого мира лежат в его кармане. Зовут его мосье Джеймс де Ротшильд, а толстяк – это монсиньор Гримбальди, посланец его святейшества Папы, от имени которого он принёс проценты по римскому займу, дань Рима”.

Не менее впечатляющую историю узнал Достоевский и из книги Герцена “Былое и думы”. Вынужденному покинуть Россию Герцену царское правительство отказалось выдать деньги под его костромское имение. Герцену посоветовали обратиться за советом к Ротшильду. И всемогущий банкир не преминул продемонстрировать своё могущество, явить, что называется, воочию, кто истинный “князь мира сего”. Император вынужден был уступить этой власти.

“Царь иудейский, – пишет Герцен, – сидел спокойно за своим столом, смотрел бумаги, писал что-то на них, верно всё миллионы. . .

– Ну, что, – сказал он, обращаясь ко мне, – довольны?..

Через месяц или полтора тугой на уплату петербургский купец 1-й гильдии Николай Романов, устрашённый... уплатил, по величайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов. . .”

Как же не сделаться Ротшильду идеалом, кумиром для юного сознания, не имеющего перед собой никакой высшей идеи в мире всеобщей шаткости убеждений, относительности духовных ценностей? Тут, по крайней мере, действительно “заключено нечто столь устойчивое, столь положительное, столь абсолютное”, что, продолжив мысль Аркадия Долгорукого о ничтожестве великих мира сего, всех этих Пиронов и Талейранов перед Ротшильдом, можно сказать и поболее того: а чуть я Ротшильд, и где Папа Римский и даже где самодержец российский?..

“Ротшильдская идея” подростка, идея власти денег – действительно *высшая* и действительно *руководящая* идея буржуазного сознания, овладевшая юным Аркадием Долгоруким, была, по убеждению Достоевского, одной из наиболее соблазнительных и всеразрушительнейших идей века.

Достоевский вскрывает в романе не столько социальную, экономическую и тому подобную суть этой идеи, сколько её нравственную и эстетическую природу. В конечном счёте она есть не что иное, как идея власти ничтожества над миром, и прежде всего – над миром истинных духовных ценностей. Правда, Достоевский вполне сознавал, что именно в этой-то природе идей и кроется в значительной мере сила её соблазнительности. Так, юный герой романа признаётся: “Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и срединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы, Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы, Пушкины и Шекспиров. . . а вот я – бездарность и незаконность, и всё-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились”.

Достоевский вскрывает в романе и прямые связи “ротшильдской идеи” подростка с психологией социальной, нравственной ущербности, неполноценности Аркадия Макаровича как одного из следствий, порождений “случайного семейства”, духовной безотцовщины.

Найдёт ли в себе силы подросток подняться над посредственностью, преодолеть ущербность сознания, победить в себе искушение идеалом золотого тельца? Он ведь ещё сомневается; чистая душа его ещё вопрошает, ещё

взыскует правды. Может, ещё и потому так стремится он в Петербург, к Версиллову, что надеется обрести в нём отца. Не юридического, но прежде всего — духовного. Ему нужен нравственный авторитет, который ответил бы ему на его сомнения.

Что предложит ему Версильов? Человек умнейший, образованнейший, человек идеи; человек по уму и опыту, как было замыслено Достоевским, — не ниже Чаадаева или Герцена. А подростку предстоят ещё и другие, не менее серьёзные встречи с людьми идеи. Роман Достоевского и есть, в известном смысле, своеобразное хождение подростка по идейным и нравственным мукам в поисках истины, в поисках великой руководящей идеи.

Как видим, даже и, казалось бы, вполне детективный сюжет с письмом обернётся вдруг важнейшей общественной, гражданской проблемой — проблемой первого нравственного поступка, определяющего дух и смысл едва ли не всего последующего жизненного пути юного человека, проблемой совести, добра и зла. Проблемой как жить, что делать и во имя чего? В конечном счёте — проблемой будущих судеб страны, *“ибо из подростков создаются поколения”*, — этой мыслью-предупреждением и завершается роман “Подросток”.

Мысль семейная обернётся мыслью народной всемирно-исторической значимости, мыслью о путях формирования духовно-нравственных основ России будущего.

Первой испытаниям на прочность подвергается “ротшильдовская идея” подростка в кружке Дергачёва. Здесь спорят о новых социальных теориях переустройства жизни на разумных началах, о великой идее — дать хлеб всем голодающим на земле, о многом другом. Но как достичь всего этого, они ещё реально не ведают. Лучшими умами — это ясно видел автор “Подростка” — всё более овладевала вполне практическая, хотя и трудноосуществимая идея — “накормить” нищее, голодное человечество. Но пусть и неясные, но всё-таки социальные и даже в какой-то мере социалистические по духу идеи общего дела всё-таки пока не привлекают подростка, он всё ещё под обаянием идеи гордой, одинокой, обладающей могучей тайной властью личности. Да и Версильов объясняет Аркадию, что хотя сама по себе практическая задача накормить человечество и действительно “великая идея”, но всё-таки не главная, а лишь второстепенная и только в данный момент великая. Ведь я знаю, — говорит он сыну, — что, если “обратить камни в хлебы” и накормить человечество, то человек тотчас же и непременно спросит: “Ну, вот, я наелся; теперь что же делать?” Общество основывается на началах нравственных, — утверждает писатель. Но не принимая социальную практическую задачу накормить страждущее человечество за его конечный и высший идеал, подросток чувствует уже, что и его “ротшильдовская идея” не сможет долго претендовать в его сознании на эту роль уже и потому, что она по самой природе своей ведёт людей к обособлению, служит кучке “избранных”, паразитирующих на остальном человечестве. Новое же молодое поколение, как понимал его Достоевский, при всех ошибках и заблуждениях всё-таки жаждет отыскать руководящую мысль — собирательную, единящую. Как писатель русский, Достоевский проводит в романе мысль о том, что идея, соблазнившая подростка, по сути своей противна самой природе русского характера, так как русский человек по складу своей исторической судьбы, — считал писатель, — только тогда и может проявить себя вполне именно в качестве русского человека, когда живёт не для себя лично, но для всех.

Да, повторим ещё раз, социально-практическая идея не стала владычествующей для Аркадия, но в то же время именно ею была поколеблена в сознании подростка его вера в “ротшильдовскую идею” как в единственно реальную и притом великую.

Особенно потрясает подростка идея Крафта, тоже ведь совсем ещё молодого мыслителя, который математически вывел, будто русский народ есть народ второстепенный и что ему не дано в будущем никакой самостоятельной роли в судьбах человечества, но предназначено лишь послужить материалом для деятельности другого, “более благородного” племени. А потому, — решает Крафт, — и нет никакого смысла жить в качестве русского. Подростка идея Крафта поражает уже тем, что он вдруг воочию убеждается в истине: умный, глубокий, искренний человек может вдруг уверовать в нелепую и разрушительнейшую идею как в идею великую. В уме своём он должен, естественно, сопоставлять её с собственной идеей; он не может не задаться вопросом:

а не то ли же самое случилось и с ним самим? Мысль же о том, что личная жизненная идея только тогда и может быть подлинно великой, когда она одновременно является и идеей общей, касающейся судеб народа, всей России, — эта мысль воспринимается подростком как откровение.

Ни умный Крафт, ни наивный Аркадий не могут понять того, что выносим из крафтовского опыта мы, читатели романа: “математические убеждения”, под которыми сам Достоевский понимал убеждения позитивистские, построенные на логике выхваченных из жизни фактов, без проникновения в их идею, не сверенных с логикой нравственных убеждений, — такие “математические убеждения — ничто”, — утверждает автор “Подростка”. К сколь чудовищным извращениям мысли и чувства могут привести позитивистские, безнравственные убеждения, и явствует нам судьба Крафта. Что вынесет из его опыта подросток? Он-то ведь человек отнюдь не безнравственный. Если б всё дело было только в этом! Крафт сам по себе тоже глубоко честный и нравственный человек, искренне любящий Россию, болеющий её болями и бедами куда более, нежели своими личными.

Истоки столь разных по видимости, но и столь же родственных по сути своей руководящих идей Крафта и самого подростка — в том бездуховном состоянии общественной жизни, которое сам Крафт, напомним, определяет в романе так: “...все живут, только бы с них достало...” Жить идеей “постоялого двора” Крафт не способен. Другой идеи он в реальной жизни не находит. А сможет ли жить “только бы с него достало” Аркадий? Его душа смущена, она требует если и не готового, окончательного ответа, то хотя бы направляющего совета, нравственной опоры в лице живого конкретного человека. Ему духовно нужен отец. А Версиров как будто даже посмеивается над ним, не принимает его всерьёз, во всяком случае, не торопится помочь ему ответить на проклятые вопросы: как жить? Что делать? Во имя чего? Да и есть ли у него самого-то какие-то высшие цели, хоть какая-нибудь руководящая им идея, хоть какие ни на есть нравственные убеждения, за которые, как говорит подросток, “каждый честный отец должен бы послать сына своего хоть на смерть, как древний Гораций сыновей своих за идею Рима”. Живя по законам той среды, которая всё более затягивает его, Аркадий всё ещё надеется на иную жизнь во имя идеи, на жизнь-подвиг. В нём всё ещё жива потребность подвига и идеала. Правда, Версиров излагает, наконец, свою заветную идею своего рода то ли аристократической демократии, то ли демократического аристократизма, идею необходимости сознания или выработки в России некоего высшего сословия, к которому должны бы принадлежать как виднейшие представители древних родов, так и всех других сословий, совершившие подвиги чести, науки, доблести, искусства, то есть, по его разумению, — все лучшие люди России должны объединиться в единство, которое и будет хранителем чести, науки и высшей идеи. Но какова же эта идея, которую должны будут хранить все эти лучшие люди, сословие аристократов рода, мысли и духа? На этот вопрос Версиров не отвечает. Не хочет или не знает ответа?

Но может ли увлечь подростка скорее уж утопия, более мечта, нежели идея Версирова? Возможно, она и увлекла бы его — всё-таки это нечто куда более высокое, чем “достало бы с тебя”, “живи в своё пузо”, “после нас хоть потоп”, “однова живём” и тому подобные расхожие практические идеи общества, в котором живёт Аркадий. Возможно. Но для этого ему бы нужно уверовать сначала в самого Версирова как в отца, как действительно в человека чести, подвига, “фанатика высшей, хотя и скрываемой им до поры идеи”.

И вот наконец Версиров действительно раскрывается перед сыном своим, подростком, как “носитель высшей русской культурной мысли”, по его собственному определению. Как сознаёт сам Версиров, он не просто исповедует идею, нет! Он сам по себе уже есть идея. Он как личность — это тип человека, исторически создавшийся именно в России и невиданный ещё в целом мире — тип всемирного боления за всех, за судьбу всего мира: “Это тип русский, — объясняет он сыну, — ...я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча... но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу”.

Утопия русского европейца Версирова может и должна, по его убеждению, спасти мир от всеобщего разложения нравственной мыслью о возможности жить не для себя, но для всех — о “золотом веке” будущего. Но версировская идея всемирного примирения, мировой гармонии глубоко пессимистична

и трагична, ибо, как сознаёт сам Версиров, никто, кроме него, в целом мире не понимает эту его идею: “Я скитался один. Не про себя лично я говорю — я про русскую мысль говорю”. Сам же Версиров ясно сознаёт неосуществимость и, стало быть, непрактичность собственной идеи, во всяком случае, в настоящем, ибо и в Европе, и в России теперь — каждый сам по себе. И тогда Версиров выдвигает практическую, хотя в то же время и не менее утопическую задачу как первый шаг к осуществлению мечты о “золотом веке”, задачу, которая давно уже тревожила сознание и самого Достоевского: “Лучшие люди должны объединиться”.

Мысль эта увлекает и юного Аркадия. Однако и беспокоит его: “А народ?.. Какое же ему назначение? — спрашивает он своего отца. — Вас только тысяча, а вы говорите — человечество...” И этот вопрос Аркадия — явное свидетельство серьёзного внутреннего взросления и его мысли, и его самого как личности, потому что это-то и есть — по убеждению Достоевского — главный вопрос для молодого поколения, от ответа на который во многом будут зависеть пути будущего развития России: кого считать “лучшими людьми” — дворянство, финансово-ротшильдовскую олигархию или народ? Версиров уточняет: “Если я горжусь, что я дворянин, то именно как пионер великой мысли”, а не как представитель определённой социальной верхушки общества. “Верую, — продолжает он, отвечая на вопрос Аркадия о народе, — что недалеко время, когда таким же дворянином, как я, и создателем своей высшей идеи станет весь народ русский”.

И вопрос Аркадия, и ответ Версирова в романе Достоевского возникают не случайно и имеют для обоих отнюдь не чисто теоретическое значение. Сама проблема народа возникает в романе в беседе Версирова с сыном в прямой связи с конкретным человеком — крестьянином Макаром Долгоруким. Достоевский не ставил перед собой задачу открыть новый в русской литературе тип героя. Он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что его Макар произведёт не столько впечатление неожиданности, сколько как раз узнаваемости, типологической родственности с некрасовским Власом, в какой-то мере и с толстовским Платоном Каратаевым, но прежде всего — с собственным “мужиком Мареем”. Художественное и идейное открытие Достоевского заключалось в ином: мужик, бывший крепостной Версирова, в романе Достоевского поставлен вровень с высшим культурным типом. И притом не просто с общей гуманистической точки зрения — как человек, но — как человек идеи, как тип личности.

Версиров — европейский скиталец с русской душой, идейно бездомный и в Европе, и в России. Макар — русский странник, отправившийся в хождение по Руси, чтобы познать весь мир; ему вся Россия и даже вся вселенная — дом. Версиров — высший культурный тип русского человека. Макар — высший нравственный тип русского человека из народа, своего рода “народный святой”. Версиров — русское порождение общемирового “безобразия”, разложения, хаоса; идея Версирова и противостоит этому безобразию. Макар — живое воплощение как раз благообразия, он, по идее Достоевского, как бы носит в себе уже сейчас, в настоящем тот “золотой век”, о котором мечтает Версиров как об отдалённой цели человечества.

Основное направление центральных глав романа и создаётся диалогом между Макаром Ивановичем Долгоруким и Андреем Петровичем Версировым. Диалог этот — не прямой, он опосредован Аркадием, ведётся как бы через него. Но это даже и не только диалог, но настоящая битва двух отцов — приёмного и фактического — за душу, за сознание подростка, битва за будущее поколение, а значит, и за будущее России.

Бытовая, чисто семейная ситуация в романе имеет и иное, более широкое социально-историческое содержание. Версиров — идеолог, носитель высшей русской культурной мысли, западного направления, — не сумев понять Россию в России, пытался понять её через Европу, как это случилось, по представлениям Достоевского, с Герценом или нравственно — с Чаадаевым. Нет, он не собирался воспроизводить в своём герое реальные черты судьбы и личности Герцена или Чаадаева, но их духовные искания отразились в романе в самой идее Версирова. В облике же или в типе Макара Ивановича Долгорукого должна была, по мысли Достоевского, воплотиться старинная идея русского народного правдоискателя. Он — именно тип, образ правдоискателя из народа. В отличие от Версирова, Макар Иванович ищет правду не



в Европе, но в самой России. Версиров и Макар Иванович — это и есть своеобразное раздвоение одной русской идеи, долженствующей ответить на вопрос о будущей судьбе России: не случайно в романе у обоих одна жена, мать их как бы единого ребёнка — будущего поколения. Чтобы лишь представить этот своего рода символический, а точнее — социально-исторический смысл этой “семейной” ситуации, вспомним одну чрезвычайно показательную мысль Герцена, которая не прошла мимо внимания Достоевского и художественно отразилась в романе “Подросток”:

“У них и у нас, то есть у славянофилов и западников, — писал Герцен в “Колоколе”, — запало с ранних лет одно сильное... страстное чувство... чувство безграничной, охватывающей всё существование любви к русскому народу, русскому быту, к складу ума... Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетённую мать... Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка... Мы знали, что её счастье впереди, что под её сердцем... — наш маленький брат...”

Версиров — всеевропеец с русской душой, и пытается теперь духовно-нравственно отыскать эту крестьянку и ребёнка, которого она носила под своим сердцем.

И, видимо, ни идея Версирова, русского европейца, не отделяющего судеб России от судеб Европы, надеющегося примирить, объединить в своей идее любовь к России с любовью к Европе, ни идея народного правдоискательства Макара Ивановича сами по себе не дадут ответа подростку на его вопрос жизни: что же делать ему, лично ему? Вряд ли отправится он, подобно Версирову, отыскивать правду в Европу, как и не пойдёт он, очевидно, странничать по Руси вслед за Макаром Ивановичем. Но, безусловно, уроки духовных, идейных исканий того и другого не отложат отпечаток на его юную душу, на его только ещё формирующееся сознание. Мы не можем, конечно, представлять себе влияние даже и впечатляющих нравственных уроков как нечто прямолинейное и сиюминутное. Это движение внутреннее, порою чреватое и срывами, и новыми сомнениями, и падениями, но всё-таки и неотвратимое. И подростку предстоит ещё пройти искушение Ламбертом, решиться на чудовищный нравственный эксперимент, но, увидев его результат, душа, совесть, сознание Аркадия Макаровича ещё содрогнутся, устыдятся, оскорбятся за подростка, подвигнут его к нравственному решению, к поступку по совести.

Юный герой Достоевского явно не обрёл ещё пока никакой высшей идеи, но, кажется, начал даже терять веру вообще в её возможность. Но столь же явно он ощутил зыбкость, ненадёжность даже и тех если уж не оснований жизни, то по крайней мере хоть правил игры в жизнь, честь, совесть, дружбу, любовь, установленные этим миром. Всё — хаос и беспорядок. Нравственный хаос и духовный беспорядок — прежде всего. Всё зыбко, всё безнадёжно, не на что опереться. Подросток чувствует этот беспорядок и внутри себя, в своих мыслях, воззрениях, поступках. Он начинает не выдерживать, устраивает скандал, попадает в полицию и, наконец, тяжело заболевает, бредит. И вот — как своего рода материализации и этого бреда, и самой природы его болезни — болезни, конечно же, более нравственной, нежели физической, — перед ним появляется Ламберт. Ламберт — кошмар отроческих воспоминаний Аркадия. С Ламбертом связано всё то тёмное, стыдное, к чему успел прикоснуться ребёнок. Это человек вне совести, вне нравственности, не говоря уже о духовности. У него нет даже никаких принципов, кроме единственного: всё позволено, если есть хоть какая-то надежда использовать ради извлечения выгоды чего и кого угодно, ибо Ламберт — “мясо, материя”, как записал Достоевский в подготовительных материалах к “Подростку”.

И вот такой-то человек вцепился в Аркадия: он теперь нужен ему — он ухватил из обрывков его больного бреда нечто о документе и тут же сообразил — в этом-то ему не откажешь, — что тут можно извлечь выгоду. И, может быть, немалую.

Ну, а если так и нужно? Что, если Ламберт-то и есть тот человек, который наставит подростка хоть на что-то реальное в этом всеобщем хаосе и беспорядке? И коль нет высшей идеи, не нужен и подвиг, а он что-то так и не встретил ни одного потрясающего примера жизни ради идеи. Крафт? Так ведь и тот — идея отрицательная, идея самоуничтожения, а ему хочется жить, ему страстно хочется жить. У Ламберта хоть и подлая идея, безнравственная,

но это всё-таки идея утвердительная, идея брать жизнь, чего бы это ни стоило. Вот вывод, вынесенный подростком из уроков жизни: ведь ни одного нравственного примера. Ни одного, а это ведь что-то да значит...

Но вот — далеко, казалось бы, не центральный мотив романа и, однако же, столь важный для понимания внутреннего движения души, самосознания подростка: во имя всё той же, пусть и поблагороднее обставленной, нежели у Ламберта, идеи пользования благами жизни любую ценой князь Сергей оказался замешанным в крупных спекуляциях и подделке серьёзных документов. У него был выход — он мог бы ещё откупиться, бежать — мало ли что... Но — уверившись в невинности Аркадия, князь Сергей, потрясённый тем, что есть ещё, оказывается, на этом свете люди чистые до наивности, решает и сам жить по совести.

“Испробовав “выход” лакейский, — объясняет князь Сергей Аркадию, и не случайно именно ему, потому что никто другой и не поймёт, а у Аркадия — князь Сергей убедился в этом — чистое сердце, — я потерял тем самым право утешить хоть сколько-нибудь мою душу мыслью, что смог и я, наконец, решиться на подвиг справедливый. Я виновен перед отечеством и перед родом своим... Не понимаю, как мог я схватиться за низкую мысль откупиться от них деньгами? Всё же сам, перед своею совестью я оставался бы навеки преступником”. И князь Сергей сам предал себя в руки правосудия.

Как знать, может быть, в решении “жить по совести” и сыграл главную роль именно тот нравственный урок, который получил князь Сергей, подозревая подростка в низости, ибо все таковы, но оказалось — не все. И пусть это только один и ничего из себя особого не представляющий подросток — всё-таки он есть, такой человек с чистым сердцем. Всё-таки он есть, и значит — не все таковы, и значит — он тоже не хочет и не может быть; как все. А извлечёт ли для себя хоть какой-то урок из этого поступка князя сам Аркадий? Конечно, поступок князя Сергея — никакой не подвиг, но это всё-таки именно *поступок*. Поступок *нравственный*. Отзовётся ли он в сердце подростка, как отозвалось недавно его чистое сердце в нынешнем поступке князя? Ибо давно сказано: зло умножает зло, а добро преумножает добро. Но ведь это в идеале. А в жизни?

Нет, не всё, видимо, легко и просто будет в его жизни. Аркадий Долгорукий окажется вдруг в положении юного витязя на духовно-нравственном перепутье, у вешего камня, за которым много дорог, но лишь одна прямоезжая. Которая из них? Думаю, Достоевский сознательно не захотел насильно подталкивать своего героя к окончательному решению. Важно, что его подросток уже не в нравственном состоянии *беслутья*, но *перед* дорогой к правде. Достоевский верил, что и его молодые читатели узнают себя отчасти в исканиях, мечтаниях его героя. Узнают и осознают главное — необходимость отыскания верного пути жизни, пути богатства, готовности к подвигу не во имя только самоутверждения, но во имя будущего России. Потому что великая цель, великая идея не могут быть узкокорыстными; путь к правде не может лежать вне исторического пути Отечества. К этой истине Достоевский исподволь и подводит и своего молодого героя, и своих читателей. В самом деле, вы, конечно, заметили, что в центре всех, столь не похожих одна на другую, идей, определяющих поступки героев, так или иначе лежит мысль о России, Родине, Отечестве. Европейец Версилов не просто любит Россию. Он прекрасно отдаёт себе отчёт, что его идея всеевропейского и всемирowego примирения в конце концов опирается на Россию, а не на Европу, ибо, как сознаёт Андрей Петрович: “Одна Россия живёт не для себя, а для мысли...” И Версилов, как и Герцен, мог бы сказать о себе: “Вера в Россию спасла меня от нравственной гибели... За эту веру в неё, за это исцеление ею — благодарю я мою родину”. Родина, Русь — центральное понятие духовных исканий Макара Ивановича. Судьба России определяет поступок Крафта. Сознание вины перед Отечеством — поступок князя Сергея...

И только в первоначальной, “ротшильдовской идее” Аркадия Макаровича и в “философии жизни” Ламберта понятие России, Отечества отсутствует начисто. И не случайно: обе они хотя и разномасштабны, но родственны по истокам и устремлениям. Обе буржуазны по сути, античеловечны, антидуховны. Они не прельщают больше подростка, ибо он осознал их истинную цену: обе они — вне правды, обе — против правды. Достоевский же оставил своего героя всё с тою же страстной жадой высокой идеи, высокой цели

жизни, но оставит уже на пути к правде. Каков этот путь? Это подскажет сама жизнь. Таков, как мне представляется, главный урок романа Достоевского “Подросток”.

“По глубине замысла, по широте задач нравственного мира, разрабатываемых им, — писал о Достоевском Салтыков-Щедрин, — этот писатель... не только признаёт законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идёт далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель... отдалёнейших исканий человечества”.

Эти пророческие слова современника Достоевского обращены уже как бы непосредственно к нам, к нашему времени, к нашему обществу, к нашим идейным, нравственным исканиям, обретениям и устремлениям.

Гениальный писатель-мыслитель действительно умел смотреть далеко вперёд. “У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся. Но есть необходимо и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы этого разложения и нового созидания?” Где же, в чём видит Достоевский проявления этих законов нового созидания? В чём заключаются для него залого будущего возрождения России из состояния всеобщего разложения?

Достоевский верил в народ, на него и возлагал свои надежды на будущее возрождение. Неправда, будто он идеализировал народ, считал его дистиллированно чистым, вовсе не затронутым язвою буржуазного разложения. “Да, народ тоже болен, — писал он, — но не смертельно”, ибо живёт в нём “неутолённая жажда правды. Ищет народ правды и выхода к ней”. А раз ищет, — верил он, — то и найдёт. А ещё верил он в юное поколение страны, затем и написал роман “Подросток”. Мечтал написать ещё и роман “Дети”. Не успел. Смерть не дала. “Я потому так, и прежде всех, на молодёжь надеюсь, — объяснял он, — что она у нас тоже страдает “исканием правды” и тоской по ней, а, стало быть, она народу сродни наиболее, и сразу поймёт, что и народ ищет правды”.

В идейном подспуде романа “Подросток” нельзя не увидеть мысли писателя о необходимости объединения поиска истины поколением и народной жаждой правды; мысли о том, что подлинно великая, руководящая идея, работающая на законы нового созидания, не может быть иной, нежели идея народной, идеей общего со всем народом, единого дела.

Итак, перед нами действительно простая семейная история. Но что стоит за ней? Здесь проходят первый жизненный опыт, получают первые нравственные, идейные уроки будущие граждане страны, будущие её деятели. И от того, каков этот опыт, каковы эти уроки, будет зависеть в будущем многое, слишком многое в судьбах народа, страны, всего мира. Да, именно так: Достоевский не знал этого, но мы-то с вами знаем: младшие представители поколения Аркадия Макаровича, героя романа “Подросток”, станут живыми действующими лицами события всемирно-исторической значимости — Октябрьской революции: напомним, что в год публикации “Подростка” на страницах журнала Некрасова “Отечественные записки” Ленину было пять лет. Да и сам Аркадий Макарович вполне мог дожить до революции: в 1917 году ему было бы 62 года. Где, на чьей стороне был бы он в этот исторический момент, какую роль сыграл бы в нём? Вопросы не праздные, ибо ответы на эти вопросы во многом заключались, а может быть, и определялись в главном, на всю жизнь потом, уже здесь, в опыте и уроках этой обыденной “семейной истории”.

**Публикация М. В. Селезнёвой-Кузнецовой**